

Дерзкая империя. Нравы, одежда и быт Петровской эпохи

Автор:

[Лев Бердников](#)

Дерзкая империя. Нравы, одежда и быт Петровской эпохи

Лев Иосифович Бердников

История и наука Рунета

XVIII век – самый загадочный и увлекательный период в истории России. Он раскрывает перед нами любопытнейшие и часто неожиданные страницы той славной эпохи, когда стираются грани между спектаклем и самой жизнью, когда все превращается в большой костюмированный бал с его интригами и дворцовыми тайнами. Прослеживаются судьбы целой плеяды героев былых времен, с именами громкими и совершенно забытыми ныне. При этом даже знакомые персонажи – Петр I, Франц Лефорт, Александр Меншиков, Екатерина I, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна, Екатерина II, Иван Шувалов, Павел I – показаны как дерзкие законодатели новой моды и новой формы поведения. Петр Великий пытался ввести европейский образ жизни на русской земле. Но приживался он трудно: все выглядело подчас смешно и нелепо. Курьезные свадебные кортежи, которые везли молодую пару на верную смерть в ледяной дом, празднества, обставленные на шутовской манер, – все это отдавало варварством и жестокостью. Почему так происходило, читайте в книге историка и культуролога Льва Бердникова.

Лев Бердников

Дерзкая империя. Нравы, одежда и быт Петровской эпохи

© Л. И. Бердников, 2018

* * *

Посвящается маме, моему доброму гению

По имени Великий. Василий Голицын

В 1721 году императору Петру Алексеевичу был присвоен титул «Великий». В истории российской это было не ново – за 35 лет до Петра так называли «царственныя большия печати и государственных великих посольских дел оберегателя, ближнего боярина и наместника новгородского» князя Василия Васильевича Голицына (1643–1714).

Сподвижники и апологеты Петра тщились сделать все, чтобы имя этого харизматического деятеля, первого министра при ненавистной царю сестре-регентше Софье Алексеевне, было предано забвению. Некоторые изображали князя бесплодным мечтателем. Историк Александр Брикнер отметил: «Большая разница между намерениями Голицына и действительными результатами его управления делами представляется странным противоречием».

Однако раздавались и другие голоса. Администрация Софьи с Голицыным во главе получила высокую оценку искушенной в политике Екатерины II, отметившей, что правительство это имело все способности к управлению. И уж конечно, дорогого стоит характеристика ревностного приверженца Петра I князя Бориса Куракина, который еще в 1720-е годы не побоялся признать: «И все государство пришло во время ее (Софьи. – Л. Б.) правления, чрез семь лет, в цвет великого богатства. Также умножились коммерция и всякие ремесла, и науки почали быть восставлять латинского и греческого языку. Также и политес восстановлена была в великом шляхетстве и других придворных с манеру польского – и в эки-пажах, и в домовом строении, и в уборах, и в столах... А правление внутреннее государства продолжалось во всяком порядке и

правосудии, и умножилось народное благо». Высоко отозвался о князе Василии и фаворит царя Франц Якоб Лефорт в письме к брату.

И друзья, и враги Голицына сходились в одном: это был исключительно талантливый государственный деятель, дипломат и реформатор. Такими, как известно, не рождаются, а становятся. И именно в раннем возрасте были заложены основы его будущих свершений. Василий родился в знатной семье и был потомком великого князя литовского Гедимина, чей род традиционно возводился к Рюрику. Уже в XV веке его предки служили московским государям, так что своей знатностью Голицыны вполне могли поспорить с самими Романовыми.

В девять лет Василий потерял отца. Стараниями матери – княгини Татьяны Ивановны, урожденной Стрешневой – он получил прекрасное домашнее образование. Благодаря происхождению и родственным связям юный князь в пятнадцать лет попал во дворец к царю Алексею Михайловичу. Он начал службу со скромного, но облеченного особым доверием царя чина стольника. Постепенно поднимаясь, он достиг в 1676 году боярского звания.

Во время царствования Федора Алексеевича Голицын стал заметным деятелем правительственного кружка, заведовал Пушкарским и Владимирским судными приказами, уже тогда выделяясь на фоне остальных бояр гуманностью, и, как говорили современники, «умом, учтивостью и великолепием». Именно ему, родовитому боярину, принадлежит инициатива по отмене местничества в России (12 января 1682 года): были преданы огню разрядные книги, причинявшие вред службе и сеявшие раздор между знатными семействами. Этим князь предвосхитил реформы Петра не только *de jure*, но и *de facto*, поскольку окружил себя помощниками вовсе не родовитыми, вроде Леонтия Неплюева, Григория Касогова, Венедикта Змеева, Емельяна Украинцева, – иными словами, выдвигал людей по «годности», а не по «породе».

Но, пожалуй, наиболее впечатляющих успехов Голицын достиг в «книголюбии». В этом сказались и семейная традиция, и его собственная неутолимая жажда знаний. Иностранцы называли его любителем всякого рода наук, что было редким в России. Князь радел о введении образовательной системы в стране. Показательно, что именно при его деятельном участии была открыта в Москве Славяно-греко-латинская академия – первое в России высшее учебное заведение.

Однако во всю ширь дарования князя развернулись с 1682-го по 1689 годы, в период регентства сестры малолетнего Петра Софьи Алексеевны, при которой он фактически возглавил правительство России. С правительницей его связывали не только служебные отношения. Князь Борис Куракин отметил: «И тогда ж она, царица София Алексеевна, по своей особой инклинации и амуру, князя Василия Васильевича Голицына назначила дворовым воеводою войски командировать и учинила его первым министром и судьей Посольского приказа, который вошел в ту милость чрез амурные интриги. И почал быть фаворитом и первым министром и был своею персоной изрядной, и ума великого, и любим от всех».

Утверждали, что князь сошелся с регентшей лишь ради выгоды, а вот Софья была в самом деле «страстно влюблена» в него. Думается, однако, что и Голицыным руководил не только голый расчет. Конечно, царица не была красавицей, какой впоследствии изобразил ее Вольтер, знакомый лишь с ее портретами. Но не была она и толстой, угрюмой, малопривлекательной бабой, коей предстает она на знаменитой картине Ильи Репина. Царица манила обаянием молодости (ей было тогда двадцать четыре года, князю – под сорок), бьющей через край жизненной энергией, острым умом, наконец – самой магией своего имени, которое придворные богословы и пииты прямо соотносили с божественной Премудростью. Итак, честолюбивый князь и властолюбивая царица – Гедиминович Голицын и Софья Романова – взошли на вершину российской власти рука об руку.

Голицын строил широкие планы социально-политических реформ, думая о преобразовании всего государственного строя России. Он мыслил о разрушении крепостного права с наделением крестьян тем количеством земли, которым они пользовались. (Не заимствовал ли он эту мысль из государственной практики Швеции?) Историк Василий Ключевский с восхищением написал впоследствии: «Подобные планы о разрешении крепостного вопроса стали возвращаться в русские государственные умы не раньше как полтора столетия спустя после Голицына».

Несомненной заслугой князя явилась финансовая реформа страны: вместо обилия налогов, лежавших тяжким бременем на населении, был введен один, и собирался он теперь с определенного количества дворов, то есть с конкретных лиц.

С именем Голицына связано и совершенствование военной мощи державы – увеличилось число полков «нового» и «иноземного» строя, стали формироваться рейтарские, драгунские, мушкетерские роты, которые служили по единому уставу и подчинялись одной программе. Князю приписывают постройку деревянных мостовых, а также трех тысяч каменных домов в Москве, в том числе зданий в Кремле, великолепных палат для присутственных мест. Но наиболее впечатляющим было строительство легендарного Каменного моста о двенадцати арках через Москву-реку. Это сооружение по тому времени казалось настолько дорогим, что даже вошло в поговорку: «Дороже Каменного моста». При Голицыне развилось книгопечатание – за семь лет вышли сорок четыре книги, что по тем временам было немало. Он выказал себя меценатом, покровителем первых русских профессиональных писателей – Симеона Полоцкого и Сильвестра Медведева (последний был в 1691 году казнен Петром I как сподвижник Софьи). Зародилась светская живопись (портреты-парсуны); нового уровня достигло иконописание; расцвело архитектурное направление, которое позднее получило название «голицынское барокко». Внес князь свою лепту и в дело гуманизации уголовного законодательства: были облегчены условия холопства за долги, отменены варварские обычаи казнить за «возмутительные слова» и закапывать в землю мужеубийц. Они – увы! – были возобновлены при Петре.

Свободное владение греческим, латинским, польским и немецким языками позволило Голицыну без труда общаться с иноземными дипломатами и деятелями культуры. Князь стяжал славу истого западника и сторонника католицизма (последним отличаясь от Петра, который тяготел к протестантизму).

Историки свидетельствуют, что ранее европейские державы считали Россию огромным варварским государством, которое можно использовать в коммерческих целях как путь на восток или в качестве пугала для врагов, – но никогда не рассматривали ее как цивилизованную страну. Своей неутомимой деятельностью Голицын разрушил этот стереотип. Именно в годы его управления страной на Русь буквально хлынул поток европейцев. К примеру, гугеноты и иезуиты получили здесь убежище от конфессиональных преследований у себя на родине. При князе расцвела Немецкая слобода в Москве, где селились иностранные военные, лекари, ремесленники, переводчики, художники и др.; заработали две первые ткацкие фабрики. Голицын посещал дома своих знакомцев там (задолго до Петра), выступил с программой свободного въезда иностранцев в страну, намеревался ввести в России свободное вероисповедание, убеждал бояр посылать своих детей на

учебу за границу. Московитам было разрешено приобретать за рубежом светские книги, предметы искусства, мебель, утварь, что сыграло заметную роль в культурной жизни общества.

Но более всего улучшению имиджа России способствовали труды Голицына на дипломатическом поприще, его официальные и частные контакты с иностранцами, приемы многочисленных делегаций, направление посольств в главные европейские державы – Париж, Мадрид, Лондон, Берлин, Копенгаген, Стокгольм, Варшаву. В апреле 1686 года был заключен долгожданный «вечный мир» с Речью Посполитой, по которому последняя отказалась от всей Малороссии с Киевом, Черниговом и другими пятьюдесятью пятью городами, – в результате Московское государство вступило в «концерт» европейских стран. Умело вел князь и переговоры со Швецией, продлив действие Кардисского мирного договора 1661 года, и переговоры с китайцами, увенчавшиеся ратификацией Нерчинского договора 1689 года, установившего границу с Поднебесной по реке Амур и открывшего России путь к Тихому океану. В основном именно из-за этих успехов и прозвали Голицына Великим.

Дипломатические встречи и церемонии поражали гостей блеском и роскошью, продуманно демонстрировали им богатство и мощь России. В отличие от Петра, Голицын не заставлял иностранцев пить на приемах, да и сам не пил водки, находил удовольствие в беседах.

Князь стоял у истоков многих петровских нововведений в области моды. К ним относится ношение россиянами европейского платья, которое нельзя назвать новацией Петра I: уже царь Федор Алексеевич под непосредственным влиянием своей жены Агафьи Грушецкой и Голицына заменил стародавние долгополые московитские одежды польским и венгерским платьем. Все государственные чиновники должны были носить его и в старомосковском одеянии в Кремль и царский дворец не допускались. Рекомендовано было также брить бороды. Заметим – не приказано, как это сделал впоследствии Петр, а всего лишь рекомендовано, следовательно, не носило обязательного характера, а потому не вызвало особых протестов и смут. «На Москве стали волосы стричь, бороды брить, сабли и польские кунтуши носить», – говорили современники. И одним из первых при дворе в польское платье облачился Голицын. Вот как описал его внешность Алексей Н. Толстой в романе «Петр Первый»: «Князь Василий Васильевич Голицын – писанный красавец, кудрявая бородка с проплешиной, вздернутые усы, стрижен коротко – по-польски, в польском кунтуше и в мягких сапожках на крутых каблуках... Синие глаза блестели возбужденно».

Князь определенно был модником того времени. Он тщательно следил за собственной внешностью и прибегал к таким косметическим средствам, употребление которых мужчинам кажется смешным, – белился, румянился, холил разными специями свою небольшую светлую бороду и усы, стриженные по самой последней моде. Его часто можно было видеть в атласном бирюзового цвета кафтане на соболях, расшитом золотом и усыпанным жемчугом и драгоценными камнями. Гардероб князя был одним из самых богатых в Москве, включал в себя более ста костюмов из драгоценных тканей, украшенных алмазами, рубинами, изумрудами, затканых золотым и серебряным шитьем. Его боярская шапка из редкого «красного» соболя стоила более десяти тысяч червонцев.

Поместительный каменный дом Голицына, расположенный в Белом городе древней столицы между Тверской улицей и Дмитровкой, иностранцы называли «восьмым чудом света», ибо он не уступал своим убранством лучшим дворцам Европы. Достаточно сказать, что длина здания составляла тридцать три сажени (более семидесяти метров), в нем было не менее двухсот дверей и оконных затворов. Рядом находился домовый храм Голицына, а во дворе стояли кареты, изготовленные в Польше, Голландии, Австрии и Германии.

В главной зале вместе с иконами висели портреты европейских и отечественных правителей, а также картины и гравюры на темы Священного писания. Потолки были украшены изображениями астрономических тел, планет, Солнца, знаков зодиака. Стены палат были обиты богатыми тканями и фабричными обоями, похожими на мрамор. Дом наполняла иностранная мебель: кровать с «птичьими ногами» (подарок Софьи), множество шкафов, буфетов, сундуков; клавикорды, а также термометр, барометр и диковинный «ящик-аптека, а в нем всякое лекарство». Все это отражалось в семидесяти пяти зеркалах. Некоторые окна были украшены витражами. В доме имелись ковры из Персии, фарфор из Венеции, гравюры и часы из Германии. Крыша дома была медная и горела на солнце, как золотая. Любитель изящного, Голицын нередко устраивал здесь театральные действия, а иногда и сам выступал в роли актера. Хлебосольный хозяин, он щедро принимал в своем доме иноземцев, коих закидывал вопросами о современной политической жизни Европы.

Палаты и храм Голицына были варварски снесены в 1928 году – несмотря на то, что общественность во главе с академиком Игорем Грабарем выступила в журнале «Строительство Москвы» в их защиту, – а на их месте в 1932–1935 годах выросло бездарное здание Совета Труда и Оборона, спроектированное

Александром Лангманом.

К концу 80-х годов XVII века князь Голицын получил в дар вотчину в подмосковном Медведкове с домом и каменной церковью Покрова Пресвятой Богородицы. Ранее этой вотчиной владел легендарный князь Дмитрий Пожарский, который во времена Смуты возглавил борьбу россиян с польскими интервентами. Подарив бывшее его владение Голицыну, Софья как бы сделала последнего преемником прославленного героя. Чтобы утвердить себя полноправным владельцем Медведкова, князь Василий заказал несколько новых колоколов со специальными надписями. Он также перестроил и благоустроил доставшийся ему дом в европейском вкусе.

Голицын не только заимствовал внешние атрибуты западной культуры (одежда, предметы быта), как это стали делать впоследствии щеголи-петиметры с их откровенной галломанией. (Голицын как раз был одним из первых русских галломанов, и его упрекали, что даже сердце у него французское.) Он проникал в глубинные пласты французской – и шире – европейской цивилизации. Собрал одну из богатейших для своего времени библиотек, отличавшуюся разнообразием изданий на русском, французском, польском, латинском и немецком языках. В ней можно было найти «Киевский летописец» и «Алкоран», сочинения античных и европейских авторов, всевозможные грамматики, труды по истории и географии, а также некую переводную рукопись «О гражданском житии, или о поправлении всех дел, еже принадлежат обще народу». Большинство книг в его библиотеке было светского содержания.

Обладая широким кругозором и просвещенным умом, не боясь обращаться к «поганым» иноземным докторам и вообще к «басурманам» (от чего категорически предостерегала тогда православная церковь, в частности патриарх Иоаким), князь, однако, не мог освободиться от свойственной эпохе суеверности. Как-то сопровождавший его дворянин Бунаков в приступе падучей болезни взял горсть земли и завязал в платок. Голицын, заподозрив в Бунакове чародея, подумал, что тот якобы «вынимал след для его порчи», и повелел подвергнуть его пытке. Также при деятельном участии князя были сожжены заживо за ересь лжепророк из Немецкой слободы Квирин Кульман и единомышленник последнего Конрад Нордерман. Впоследствии апологеты Петра обвиняли Голицына в том, что он верил в колдовство и ведовство, – хотя и сам Петр в 1716 году включил в новый военный устав направленные против колдунов карательные меры.

В 1687 и 1689 годах Голицыну пришлось возглавлять два похода российской армии в Крым. Понимая всю сложность намеченного предприятия, он стремился уклониться от обязанностей главнокомандующего, но его недоброжелатели настояли на назначении. Их усилия увенчались успехом: обе крымские кампании оказались неудачными. Они не решили главной задачи – обеспечить выход России к Черному морю, были сопряжены с огромными людскими потерями, подорвали репутацию князя и, как заключили некоторые, лишили его Софьиных ласк: новым фаворитом царевны стал Федор Шакловитый, кстати, выдвигенец того же Голицына. Скорее всего, однако, увлечение царевны Шакловитым не было связано с военными неудачами князя: царевна всегда встречала его войска как триумфаторов, щедро их награждала и никогда не признавала за ними поражения. Она даже присвоила Голицыну – впервые в российской истории – звание генералиссимуса.

Его падение явилось неизбежным следствием низвержения регентства Софьи Алексеевны, заключенной сводным братом в Новодевичий монастырь. Хотя Василий Васильевич не принимал участия ни в борьбе за власть, которую вела царевна, ни в заговорах против Петра, ни в стрелецких бунтах, такой исход был предрешен. По воле нового царя в сентябре 1689 года Голицыну был вынесен приговор: его вина была в том, что докладывал дела державы царевне, а не Петру и Ивану, писал от их имени грамоты и печатал имя Софьи, словно монархини, в книгах без царского соизволения. Но главным пунктом обвинения были неудачные крымские походы князя, в результате которых казна понесла великие убытки. Последнее из обвинений носило тенденциозный характер: немилость царя за крымские поражения пала на одного Голицына, в то время как другой активный участник этих походов, гетман Иван Мазепа, был обласкан царем. Кроме того, известно, что ни сам Петр, ни его преемники так и не покорили Крым, – в состав Российской империи он был включен только в 1783 году.

И все-таки незаурядность князя Василия была видна всем. Возможно, ее признавал и Петр, который, несмотря на жгучую неприязнь к поверженному врагу, все же не предал его жестокой казни, как других клеветов Софьи. Не исключено также, что князя спасло и заступничество его двоюродного брата, Бориса Голицына, ревностного сподвижника царя. Хотя князь Василий был лишен боярства и имущества, ему была сохранена жизнь – он был сослан с семьей на Север: сначала в Каргополь, а затем в еще более отдаленное село – Холмогоры Пинежского уезда. В ссылке в крайней бедности Голицын прожил четверть века и скончался в апреле 1714 года. Он похоронен в Красногорско-Богородицком мужском монастыре.

Голицынская Русь была чревата реформами. Роды, однако, затянулись, и нетерпеливый «царь-плотник» применил для «кесарева сечения» топор. Петровские реформы во многом стали воплощением планов и идей «Василия Великого», но воплощением грубым, стремительным. В результате подобной петровской «перестройки» в землю лег каждый пятый россиянин – население империи сократилось с двадцати пяти до двадцати миллионов человек!

Говорят, история не имеет сослагательного наклонения. Однако многие историки впоследствии оценили планы Василия Голицына как гуманную альтернативу реформам Петра. Действительно, кто знает, окажись на месте «крутого» монарха «осторожный» Голицын, может быть, судьбы истории российской не были бы столь надрывными и кровавыми. Бешеный гений Петра вздернул Россию «на дыбы», не гнушаясь при этом кнутом и дыбой. Реформы же Голицына были мирными, органичными и ненасильственными. Как сказал о нем один дипломат, «он хотел заселить пустыни, обогатить нищих, из дикарей сделать людей, превратить трусов в добрых солдат, хижины – в чертоги». И уже одна попытка претворить это желание в действительность оправдывает наречение Голицына именем Великий.

Ментор для русского царя. Франц Лефорт

Имя швейцарского россиянина Франца Якоба (Франца Яковлевича) Лефорта (1656–1699) увековечено разно. Его носит улица Женевы, родного города Лефорта, на которой, как будто в память о его второй родине, стоит православная церковь. Существует московский район Лефортово, расположенный на месте бывшей Немецкой слободы. Есть там и Лефортовская тюрьма для государственных преступников, – это, впрочем, совершенно не вяжется с жизнью и характером друга и наставника Петра I.

Около постели больного Лефорта сутками напролет играли музыканты, чтобы отвлечь его от нестерпимых страданий. Болезнь прогрессировала день ото дня, и большую часть времени несчастный проводил в бреду. Незадолго до его кончины к ложу подошел пастор, предложил обратиться к Богу, на что умирающий ответил: «Не говорите так много».

Дело в том, что с Всевышним у него, «служилого иноземца» и кальвиниста Франца Лефорта, были свои, особые отношения. «Прошу вас верить, – писал Франц брату из Архангельска 4 июля 1694 года, – что благодать Бога со мною, и хотя я неоднократно оскорблял Его, но она неисчерпаема, и я употребляю всевозможные усилия никогда не забывать Его благодеяний... Преднамеренно я не сделаю ничего предосудительного в такое время, когда Бог ниспослал на меня свои милости и когда честь требует твердо пребывать в благодати Божией. Никто и никогда не достигал подобных милостей, и ни один иноземец не мечтал о них. Сознаюсь, все эти милости необычайны; я не заслужил их; я не воображал в столь короткое время составить мое счастье, но так было угодно Богу».

О каких же необычайных для иноземца «милостях» идет здесь речь?

Выходец из богатой, бывшей в родстве со знатными родами, швейцарской купеческой семьи, Франц Якоб до 14 лет учился в женевском коллегииуме. Он с детства был одержим неукротимой страстью к военному делу, а потому, когда отец отправил его в Марсель учиться коммерции, вступил во французскую армию и несколько месяцев прослужил в ней кадетом. Затем состоялось его знакомство с курляндским принцем Фридрихом-Казимиром, имевшее значение не только для дальнейшей военной службы Лефорта (он воевал уже в составе нидерландской армии – против французов), но и для его светского воспитания, формирования утонченного вкуса: принц окружил себя роскошью, сорил деньгами (ему пришлось заложить даже несколько имений), имел блистательную свиту, любил танцы, музыку, французский театр и итальянскую оперу. Все это полюбил и Франц Якоб.

Его можно было бы назвать «солдатом удачи», циничным продавцом своей шпаги, готовым служить тому правителю, который больше заплатит. Однако все изменилось после того, как в сентябре 1675 года «по воле рока» Лефорт был заброшен в Россию: в ней он обрел вторую родину. Его старший брат Ами Лефорт отметил позднее в «Записках»: «В беседах своих он представлял картину России, вовсе не согласную с описанием путешественников. Он старался распространить выгодное понятие об этой стране, утверждая, что там можно составить хорошую карьеру и возвыситься военною службою. По этой причине он пытался уговорить своих родственников и друзей отправиться с ним в Россию».

Впрочем, встреча Лефорта с Москвией была не вполне дружелюбной. Бояре, производившие отбор иноземцев в армию, предложили ему попросту убраться

восвояси – несмотря на отменную выправку, богатырский рост и приличный послушной список! Лефорт не послушался, остался – и обосновался в Москве, в Немецкой слободе, где с 1652 года селились иностранцы. Служить нелегальный иммигрант нигде не мог, однако скоро дела его устроились, он дерзко похитил красивую и богатую Елизавету Сугэ, дочь генерала Франца Буктовена, и родня девушки быстро согласилась на брак: Лефорта уважали именитые жители слободы. По счастливому стечению обстоятельств, новобрачная приходилась кузиной первой жене известного генерала на русской службе Патрика Леопольда (Петра Ивановича) Гордона. Благодаря влиянию последнего Лефорт в 1678 году и поступил в российскую армию – в чине капитана, под начало того же Гордона.

Свои воинские качества он проявил в сражениях с турками и крымскими татарами, особенно же отличился в Чигиринских походах 1687–1689 годов. Во времена регентства царевны Софьи Алексеевны Лефорт заручился покровительством князя Василия Голицына, при котором получает чин полковника. В 1689 году, когда тридцатидвухлетняя регентша и семнадцатилетний Петр решили окончательно выяснить отношения, Лефорт сделал правильный выбор, приехал к юному царю в Троице-Сергиеву лавру и поддержал его. Фортуна после этого стала особенно благоволять ему, начался стремительный карьерный рост: в 1690 году Лефорт был произведен в генерал-майоры; в 1691-м – в генерал-лейтенанты; в 1696-м – в адмиралы.

Впрочем, бравый воин руководствовался не только карьеристскими соображениями. Это отмечено в романе Алексея Николаевича Толстого «Петр Первый». Лефорт, обращаясь к царю, выражается следующим образом: «...Тебе отдаю шпагу мою и жизнь... Нужны тебе верные и умные люди, Петер... Не торопись, жди, – мы найдем новых людей, таких, кто за дело, за твое слово, в огонь пойдут, отца, мать не пожалеют...»

Если рассматривать служение Лефорта в категориях архетипических моделей культуры (Юрий Лотман), то его мотивы вполне укладываются в формулу «вручение себя». Вручая себя и свою жизнь новому патрону, Лефорт вел себя вовсе не как «солдат удачи»: не оговаривал для себя условий, характерных для отношений обмена и договора, не требовал никаких льгот, кроме права бескорыстно и самозабвенно отдавать себя во благо страны пребывания. Иноземное происхождение Лефорта способствовало его карьере, поскольку Петру нужны были не отягощенные этнокультурно подданные, а те, кто лучше или полезнее служил российскому государству.

Можно без преувеличения сказать, что встреча Петра I и Лефорта была для каждого из них важнейшим событием в жизни. Когда она случилась? Если следовать логике мемуариста Франца (Никиты) Вильбуа, они познакомились непосредственно после первого Стрелецкого бунта 1682 года. Это Лефорт «под предлогом развлечения царя невинными играми собрал вокруг молодого государя иностранных офицеров в количестве достаточном, чтобы создать роту... Рота эта выросла до батальона, потом до двух, трех и четырех... В течение семи или восьми лет эти войска, созданные по иностранному образцу, выросли до 12 тысяч человек».

По другим данным, Лефорт стал известен юному царю в 1687 году, когда он пригласил женева обучать иностранному строю два своих полка – Преображенский и Семеновский. Есть исследователи, которые утверждают, что Петр познакомился с уроженцем Женевы на дипломатическом приеме, а сблизился не ранее августа 1689 года, когда последний заявил о своей приверженности царю. Достоверно известно, что Петр впервые посетил дом Лефорта в Немецкой слободе лишь 3 сентября 1690 года. К началу же 1691 года Лефорт уже считался фаворитом Петра.

Влияние Лефорта на Петра I было всеобъемлющим и глубоким – по словам Федора Достоевского, «женевец Лефорт воспитал его». Историк Сергей Соловьев написал позднее: «Лефорт умел сделаться неразлучным товарищем, другом молодого государя... Лефорт возбуждал Петра предпринять поход на Азов, уговорил ехать за границу; по его внушению царь позволил иностранцам свободный въезд и выезд. Очевидно, что Петр, как преобразователь в известном направлении, окончательно определился в тот период времени, к которому, бесспорно, относится близкая связь его с Лефортом...» Добавим к этому, что Лефорт подсказал Петру идею строительства новой столицы на Балтике.

Единственный из приближенных царя Франц отказался участвовать в казни мятежных стрельцов. Несмотря на веские основания для ненависти к ним: ведь главари мятежников (Овсей Ржов, Тума, Зорин, Ерш и др.) во всех неудачах (в том числе и военных) винули «еретика Франчишку Лефорта», «умышлением» которого якобы «всему народу чинится наглость, брадобритие и курение табаку во всесовершенное ниспровержение древнего благочестия». Лефорт же, по словам А. С. Пушкина, «старался укротить рассвирепевшего царя. Многие стрельцы были спасены его ходатайством и разосланы в Сибирь, Астрахань, Азов и проч.».

Он удержал Петра от жестокой расправы над царевной Софьей – благодаря швейцарцу не казненной, а сосланной в Новодевичий монастырь. Главное же, Лефорт был прежде всего другом Петра. Отношения «слуга – господин» были не для них! Какой «господин» будет плакать, как ребенок, когда «слуга» лишь ненадолго расстается с ним?! А Петр плакал.

Даже чисто внешне этот иноземец обаял Петра: ходил во французском или немецком платье с иголки, все по последней моде, пальцы украшал кольцами, а шею – ожерельями, был искушен в европейском этикете, говорил на шести языках (на немецком, голландском, французском, английском, латинском и русском – на последнем, правда, писал «по-слободски», то есть латинскими буквами). Говорил, потряхивая кудрями своего длинного, до пояса, пышно завитого парика, который так и называли – «знаменитый лефортский парик». Неспроста говорили о Лефорте – «герой мод и кутежей». Прибавим к этому веселый нрав, общительность, неиссякаемую энергию в осуществлении любой новации. Словом, душа-человек!

Вот что говорил о Лефорте биограф Георг фон Гельбиг: «Он обладал обширным и очень образованным умом, пронизательностью, присутствием духа, невероятной ловкостью в выборе лиц, ему нужных, и не-обыкновенным знанием могущества и слабости главнейших частей российского государства... В основе его характера лежали твердость, непоколебимое мужество и честность. По своему же образу жизни он был человеком распутным...» «Помянутый Лефорт, – вторит ему князь Борис Куракин, – был человек забавный и роскошный или назвать дебошан французский. И непрестанно давал у себя в доме обеды, супе, балы».

Франца не случайно называли также «министром пиров и увеселений». Именно он ввел царя в Немецкую слободу – этот «островок Западной Европы» в тогда еще домостроевской Московии, где бурлила жизнь, господствовали более свободные нравы, царил незнакомый, но такой пленительный европейский быт. Петр нашел здесь полную непринужденность общения, противоположную московитской чопорности. Широкий разгул, пляски, не-обузданное безобразное пьянство иногда продолжались в течение нескольких дней. В этих вакханалиях участвовали и женщины, придавая кутежам особую живость. Вместе с иноземцами в доме Лефорта пировал не только Петр, но и бояре (Борис Голицын, Лев Нарышкин, Петр Шереметев и другие). Царь обращался со всеми запросто, но иногда неосторожно сказанное слово приводило его в бешенство, особенно когда природная горячность Петра усиливалась выпитыми горячительными

напитками. В эти минуты все умолкали со страху и только Лефорт (а впоследствии и вторая жена царя Екатерина Алексеевна) мог успокоить и развеселить монарха. Добродушный великан с изысканными манерами и мягким юмором, страстный поклонник слабого пола, Франц был незаменим в веселой компании.

Он познакомил царя с дамским обществом Немецкой слободы и стал его поверенным в сердечных делах; как говорит об этом современник, Лефорт «пришел... в конфиденцию интриг амурных». Это он познакомил Петра со своей бывшей наложницей, дочерью местного виноторговца Иоганна Монса, Анной, роман с которой продолжался у царя более десяти лет. Все эти годы монарх был одержим сильной страстью к своей «Аннушке» – и этим он был обязан своему наставнику. Лефорт, к счастью, не дождался измены Анны своему августейшему любовнику. Впрочем, к изменам самого Петра он относился легко – кто-кто, а он-то знал, сколь женолюбив и неразборчив в связях был царь. И дело не только в его постоянных шашнях с девками. Достаточно сказать, что одновременно с Анной Монс Петр имел отношения и с ее подругой, Еленой Фадемрех. Не с подачи ли Франца Якоба? Не сам ли Лефорт виновен в любвеобильности, точнее распущенности, Петра? Как сказали о нем, «был он как лист хмеля в темном пиве Петровых страстей». И все-таки в одном Лефорт отличался от самодержца – он не был злопамятным и мстительным в любви. Петр же не прощал измены даже бывшим фавориткам (в том числе и тем, которых оставил). Кстати, именно швейцарец спас постылую жену царя от неминуемой смерти, о чем пишет Георг фон Гельбиг: «Лефорт не допустил, чтобы Петр, обуреваемый юношеской опрометчивостью, дозволил убить ее. Разумные основания, приведенные Лефортом ради укрепления славы Петра против этого намеренья, пустили в сердце этого государя столь глубокие корни, что их не могли вполне уничтожить никакие старания могущественнейших врагов Авдотьи».

Исследовательница Екатерина Рыбас определила Франца Якоба как «старого сутенера из Женевы» (это в 35-то лет! – Л. Б.), который мечтал привить царю вкус к «секс-бизнесу» и завести в России «огромную сеть государственных борделей», над которыми он, Лефорт, был бы полновластным хозяином. Более того, согласно утверждениям того же автора, сама «куртизанка» Анна Монс «вывезена им (Лефортом. – Л. Б.) из женеvского борделя» и затем пожертвована Петру. Подтвердить или опровергнуть эти слова затруднительно. Ясно только, что, несмотря на долгую семейную жизнь (жена рожала 11 раз!), Франц Якоб остается «либертенон», как называют его англоязычные энциклопедии. Об отношениях Петра I и Анны Монс мы расскажем позднее. Отметим лишь, что Лефорт использовал все свое влияние и авторитет, чтобы покровительствовать

семейству Монс, которому было суждено сыграть столь роковую роль в российской истории.

Царь настолько привык к празднествам у Франца Якоба, что, будучи сам противником роскоши, делает его дом представительским. Зимой 1692 года по распоряжению Петра I к жилищу Лефорта начинают пристраивать новую залу, способную вместить 1500 человек. Здесь же стали принимать и иностранных послов. Дом Лефорта стал напоминать дворец какого-нибудь сиятельного вельможи – он был окружен парком, где даже содержались дикие звери.

О Лефорте говорили: «Его кошелек и жизнь всегда в распоряжении царя». Получая немалое жалование, он никогда не скупился на поистине царские приемы. Потому он не только не сделал никаких сбережений, но даже не всегда высылал деньги своему нуждающемуся брату. Франц говорил о наследстве, точнее об отсутствии наследства для своего сына: «Я искал своего счастья; пусть и сын поищет своего... Я постараюсь на-учить его всему, что пригодится в жизни, а там пусть сам позаботится о себе».

Под влиянием уроженца Женевы Петр пристрастился к иноземному военному платью. Общеизвестно, что и цивильная европейская одежда была представлена Петру именно Лефортом. Лефорт же внушил Петру мысль, что отсталая Русь просто обязана перенимать опыт и мудрость у просвещенного и цивилизованного Запада. До поры до времени эти «еретические» взгляды царь не афишировал – слишком сильны были еще ревнители старомосковской партии. Только в марте 1690 года поставщиком Лефортом было «сделано немецкое платье в хоромы к нему, великому государю, царю и великому князю Петру Алексеевичу»: камзол, чулки, башмаки, шпага на шитой перевязи и парик. Однако носить свое иноземное платье Петр решается пока только среди иноземцев, а именно в той же Немецкой слободе, где, впрочем, бывает довольно часто. И – вновь воздействие старшего друга: в 1691 году он, подобно Лефорту, нередко появляется там во французском платье. Правда, одеяние монарха не отличалось свойственным Лефорту щегольством и не было усыпано драгоценными камнями.

Царь-труженик, владевший 14 ремеслами, Петр так и не стал щеголем. Это качество ему не смог привить «роскошный» швейцарец. Монарх был предельно экономен и бережлив в личных расходах, часто носил простое суконное платье, рубашку без манжет и парик без пудры; при этом одевался небрежно и неаккуратно; мог появиться на людях в штопанных чулках и стоптанных

ботинках. На протяжении многих лет царь демонстративно получал жалование от казны, которое ему за вполне реальные заслуги платил князь-кесарь Федор Ромодановский. И это была сознательная позиция монарха, подчеркивающая, что роскошествовать царю не пристало.

Азовский поход, предпринятый в 1695 году по предложению Лефорта, был фактически провален. Причины тому – отсутствие военных кораблей, а также несогласованность и многовластие среди генералитета русской армии (ею командовали Петр Гордон, Франц Лефорт и Федор Головин). Недовольство в народе против иноземцев (и прежде всего против Лефорта), которым приписывали неудачи, было очень велико.

Но в мае 1696 года Доном к Азову двинулось новое петровское войско – 30 морских судов и 1000 барок для перевозки грузов. Им командовал Лефорт, которому тогда впервые в России был пожалован чин адмирала. Почему же он, уроженец самого сухопутного государства Европы, сделался вдруг по воле Петра российским адмиралом? Современный историк Ольга Дроздова пояснила: «Для ответа нужно представить, кем и чем был для него Лефорт. Это был человек, который открыл для него новый мир. Лефорт кое-что повидал на своем веку, а больше всего создавал впечатление бывалого человека. Таким он выглядел не только в глазах Петра. Флот начинался прежде всего с разговоров о нем с иноземцами, из которых ближайшим другом царя был Лефорт». Осада Азова была полной, ибо флот Лефорта не допускал к крепости турецкие корабли. 18 июля Азов наконец капитулировал.

Царь высоко ценил заслуги своего адмирала. «Когда б у меня не было друга моего Лефорта, то не видать бы мне того так скоро, что вижу ныне в моих войсках. Он начал, а мы довершили», – говорил он впоследствии. Франц Якоб был осыпан царскими милостями – в частности, он был назначен новгородским наместником.

Именно Лефорт, познакомивший Петра с бытовой жизнью Немецкой слободы, заронил в молодом царе желание видеть европейские «политизированные» государства. И вот 9 марта 1697 года из Москвы отправилось посольство. Инкогнито, под именем урядника Преображенского полка Петра Михайлова, ехал в свите посольства и русский царь. Сам по себе этот феномен был новым не только для России, где монархи никогда ни в какие заграницы ездить не помышляли, но и для Европы, где правители тоже, как правило, сидели дома. И «главной особою» российской дипмиссии был Франц Якоб Лефорт,

сопровожаемый тайным советником Федором Головиным, статским секретарем (думным дьяком) Прокопием Возницыным, а также четырьмя секретарями, сорока «господскими детьми» знатных родов, семьюдесятью выборными солдатами гвардии с их офицерами (всего 270 человек).

Ранг Великого посольства означал широкие полномочия послов, особую пышность посольской свиты, представительность и богатство подарков. Внушителен был список стран и дворов, которые предстояло посетить послам: Лифляндия, Курляндия, Пруссия, Саксония, Голландия, Англия, Австрия и др.

Помимо задач дипломатических (поиск союзников в борьбе с Турцией за выход к Черному морю) посольство осуществляло наем на русскую службу иноземных специалистов. Только в Голландии было нанято 900 человек. И здесь неоспорима заслуга Лефорта. Обладавший даром убеждения, Франц со свойственной только ему широтой закатывал роскошные пиры, на коих уговаривал иноземцев ехать служить в далекую, но благодатную Московию. Кажется, одно уже это обстоятельство говорит об ошибочности расхожего мнения историков, что «два младших посла... вели собственно деловые отношения; роль же Лефорта свелась, главным образом, на представительство». Конечно же, европеец Лефорт, будучи официальным лицом, при многих дворах представлял Россию, создавая о ней новое, выгодное впечатление. В ход шли и его старые связи, которые он использовал на благо своей новой родины. Кроме официальных аудиенций, он выступал с речами на торжественных собраниях, вел дипломатические переговоры о союзе против Турции и о польском престолонаследии, вел переписку с представителями европейских дворов.

Лефорт как первый посол был озабочен тем, чтобы «то великое, что ему доверено... благополучно доставить». А «великой» была для Лефорта европейская цивилизация, которую он помогал «доставить», то есть увидеть Петру I своими глазами, чтобы тот возбудил россиян к переменам. Таким образом, в действиях Лефорта явственно видна стратегия – внушить Петру мысль о необходимости европеизации России. Конечно, к этому прибавилось горячее желание самого монарха учиться у Запада: «Аз бо есмь в чину учимых и учащих мя требую» – было вырезано на царской печати. Но все-таки в нетерпении, с каким импульсивный Петр сразу же по приезде из чужих краев стал резать бороды не походящим на европейцев боярам, есть и Лефортова лепта.

Примечательно, что для своего заграничного путешествия Лефорт, как и другие посланники, облачился в пышную, экзотическую для европейцев боярскую

одежду. (Это тем более бросалось в глаза, что свита Франца была одета исключительно в европейское платье.) Сохранилось описание торжественного въезда посольства в Голландию, где говорится, что три посла едут «в атласных белых шубах на соболях, с бриллиантовыми двуглавыми орлами на бобровых, как трубы, горлатных шапках; сидят, как истуканы, сверкая перстнями на пальцах и на концах тростей».

Сохранился портрет Лефорта работы голландского художника Михаэля ван Мюшера, датированный 1698 годом. Франц Якоб гордо восседает в кресле в своем московском одеянии, правда, не в горлатной шапке, а в своем знаменитом парике. Однако есть основания полагать, что подобный наряд был надет им специально для позирования художнику – факты свидетельствуют о том, что именно с 1698 года послы стали носить по преимуществу европейское платье. Существует давняя традиция рассматривать воздействие Лефорта на царя как исключительно благотворное и продуктивное для России. В книге «Анекдоты о Петре Великом» (1748) Вольтер пытался объяснить европейцам, каким образом дикая отсталая страна Россия превратилась в мощную мировую державу, победившую сильную шведскую армию. Создав вымышленный образ допетровской Московии, а также образ русского царя-дикаря, Вольтер прибегнул к весьма экзотическому приему – на авансцену был выведен герой-наставник, просвещенный европеец Лефорт. Вольтер писал: «Без этого женева Россия и сейчас, видимо, была бы варварской». Получалось, что только благодаря воздействию Лефорта на Петра последний превратился в «Прометея, отправившегося за границу за небесным светом, который мог бы оживить подданных».

Как отметил Николай Копанев, «прямым литературным прототипом отношений Петра с Лефортом в изложении Вольтера были отношения Телемака и Ментора (Наставника) в знаменитом детском романе Фенелона “Приключения Телемака”». Роль Лефорта как благодетеля России явственно просматривается и в книге Вольтера: «Истории Российской империи при Петре Великом» (1758).

Показательно, что цивилизаторская миссия Лефорта в «варварской» стране столь же гиперболизирована европейцем Вольтером, сколь недооцененным при этом остался высокий культурный уровень Московской Руси. То, в чем Вольтер видел скачок в развитии, на самом деле являлось преемственностью жизненных форм. Реформа Петра во многом была завещана XVIII столетию концом XVII века. Как об этом сказал Лев Гумилев, «все Петровские реформы были, по существу, логическим продолжением реформаторской деятельности его

предшественников».

В связи с насильственной европеизацией России Петром все чаще раздавались (да и теперь раздаются) голоса об опасности забвения русских традиций. И эта точка зрения бытовала не только среди адептов старины, архаистов и славянофилов. Николай Добролюбов в статье «Первые годы царствования Петра Великого» (1858) писал, что Лефорт о русских обычаях говорил с презрением, тогда как все европейское чрезвычайно возвышал, и молодой монарх захотел превратить Россию в Голландию.

Возможно, наиболее категорично мысль о некоем вредоносном начале, исходившем от Лефорта, была выражена в 1950-х годах эмигрантским историком и публицистом Михаилом Поморцевым (Борисом Башиловым), который заявил, что швейцарец и другие приезжие иностранцы, имевшие огромное влияние на царя, употребили его во зло: внушили Петру «ненависть ко всему родному и к самому русскому народу». Подобное суждение кажется нам предвзятым. В этой связи уместно привести слова знатока Петровской эпохи Николая Костомарова: «Лефорт, знакомя Петра с культурным ходом европейской жизни, отнюдь не старался своим влиянием выводить вперед иностранцев перед русскими; напротив, советовал Петру приближать к себе русских, возвышать их...»

По инициативе Петра в 1698 году на берегу Яузы для Лефорта был построен роскошный дворец под руководством мастера каменных дел Дмитрия Аксамитова. Он являл собой великолепное сооружение с крышами, украшенными резными гребнями. Зал дворца высотой 10 метров и площадью 300 квадратных метров, обитый шпалерами и английским красным сукном, был украшен портретом Петра, картинами и множеством зеркал.

Новоселье состоялось во дворце 12 февраля 1699 года, а совсем скоро, 2 марта, хозяин его скончался в возрасте неполных сорока четырех лет. Согласно диагнозу врачей, причиной смерти были «жесточая болезнь в голове и в боку от растворившихся старых ран», а также «гнилая горячка».

Известно, что Петр I был суеверен и заказывал себе гороскопы. И современные астрологи не обошли вниманием личности Петра и Лефорта. Поразительно, что в одном из гороскопов раскрывается совместимость двух наших друзей! «Петр I тяжело переживает смерть его лучшего друга, советчика и учителя Ф. Лефорта», – говорится там о взаимности знаков Близнецы (Петр I) и Козерог

(Лефорт). Их отношениям дается следующая характеристика: «Одновременно сложное, противоречивое и продуктивное сочетание. Магическая пара. Она может долго существовать только тогда, когда партнеров объединяет совместное дело, либо при духовном родстве людей... Близнецам импонирует ум партнера, то, как он целеустремленно реализует себя в жизни. Близнецы понимают стремление Козерога к успеху...» Что ж, налицо и общее дело, и целеустремленность, и духовная близость, связующие Петра и Лефорта, – и все это для успеха реформ и процветания России. Не сами ли звезды свели эту Магическую пару? Верно и утверждение о скорби Петра I по поводу утраты своего кармического напарника. Астрологи, правда, не учли только одного – о сохранении, а точнее о появлении, новой Магической пары позаботился один из ее участников, Лефорт.

Именно он подобрал на улице мальчика-пирожника, сына конюха Алексашку Меншикова и познакомил его с царем. Петр дал Алексашке официальный придворный титул спальника, а затем и денщика. Франц Якоб тогда сказал, что он «может быть с пользой употреблен в лучшей должности». В этом мальчугане с его живостью ума, жадностью к новизне и верностью монарху Лефорт, казалось, провидел будущего первого соратника и правую руку Петра, фельдмаршала и светлейшего князя Меншикова.

Потому, когда Петр, оплакивая своего старшего друга, с горечью восклицал: «На кого теперь я могу положиться? Он один был верен мне», – царь еще не осознал вполне, что «мин херц» Меншиков уже занял свое место в его сердце. Ведь это он ночевал с ним в одной палатке во время Азовских походов, сопровождал в поездках по Европе, был неразлучен и в работе, и в попойках. Разумеется, Меншиков не был интеллигентным, грамотным и бескорыстным, как Лефорт. Зато так же глубоко был предан делу Петра, к тому же обладал ярким военным талантом, бесстрашием, недюжинными организаторскими способностями, феноменальной памятью. Со смертью Лефорта распалась старая Магическая пара. Но на ее месте рождалась новая – Петр I и Меншиков. И глубоко символично, что подаренный Лефорту дворец будет всего через несколько лет, в 1702 году, передан Петром I Меншикову.

Но все это будет позднее, а тогда, получив извещение о кончине друга, Петр 8 марта стремглав примчался в Москву. Состоялась погребальная процессия, во главе которой шел сам царь, одетый в глубокий траур. За ним под похоронную музыку шествовали Преображенский, Семеновский и Лефортский полки. За полками степенно ехал рыцарь с обнаженным мечом, потом следовали два коня,

богато убранные, и еще один, под черною попоною. Гроб несли 28 полковников; перед гробом шагали офицеры; на бархатных подушках они торжественно несли золотые шпоры, шпагу, пистолеты, трость и шлем. Далее следовали – все в траурном одеянии – иностранные послы, бояре, сановники. Позади шла вдова покойного в сопровождении 24 знатных дам.

На мраморной надгробной доске Лефорта Петр распорядился вырезать слова: «На опасной высоте придворного счастья стоял непоколебимо». О каком придворном счастье идет здесь речь? Общеизвестно, что царь игнорировал придворный церемониал, да и двора в европейском понимании этого слова у него не было – никаких камергеров, пажей, гофмейстеров: всего несколько денщиков и гренадеров! И все-таки Франц был образцом придворного нового типа – не столько местного российского, а – шире! – европейского пошиба. Это был не только бесконечно преданный монарху умный товарищ и советчик, но и носитель изысканных манер, европейской куртуазности и политеса. Петр тем более ценил «политичность» Лефорта, что сам, трудясь над европеизацией России, был лишен европейского лоска в поведении, а в моменты бешенства и вовсе превращался в «русского дикаря». Царь был демократичен в обращении, любил прямоту и вовсе не жаловал лицемерие и фальшь. Узок был круг «птенцов гнезда Петрова» (царь еще называл их «своей компанией») – тем взыскательней относился к ним монарх. Высота их счастья была тем более «опасна», что именно Петр, со свойственной ему пронизательностью, определял цену каждого из них. И Лефорт в этой когорте «непоколебимо» занимал одно из ведущих мест.

Но вернемся к Вольтеру, который сравнил дружбу Лефорта и Петра с отношениями Ментора и Телемака. Хотя в реальной жизни связи между царем и его адмиралом были намного сложнее (прежде всего, это было не одностороннее влияние, а взаимовлияние!), тем не менее образ Ментора-воспитателя, сопровождающего Телемака во всех его жизненных испытаниях и помогающего ему ценными советами, весьма созвучен характеру отношений Лефорта и Петра. Разумеется, с поправкой на то, что это был Ментор именно для русского Телемака.

Венценосный брадобрей. Петр I

27 августа 1698 года во внешнем облике россиян произошла решительная, шокирующая многих перемена. Сам царь Петр Алексеевич, только что вернувшийся из поездки в чужие края, вооружился ножницами и безжалостно отрезал у приглашенных к нему дворян и бояр привычные русские бороды. Причем венценосный брадобрей не ограничился только первой встряской – на следующий день бороды уже новых гостей кромсал царский шут.

Последовал и высочайший указ, согласно которому бриться надлежало всем, кроме крестьян и духовенства. А в случае, ежели кто расстаться с бородой не пожелает, можно откупиться, хотя пошлина была весьма чувствительная: для дворян она составляла 60 рублей, для купцов – 100 рублей, для прочих посадских людей – 30 рублей в год. Заплатив ее, человек получал металлический бородовой знак, по центру которого значилось: «С бороды пошлина взята», а по периметру помещалась надпись совсем в духе петровской пропаганды: «Борода – лишняя тягота». Облагалась пошлиной и крестьянская борода, но только при въезде в город и выезде из него – она составляла 2 деньги.

У городских застав дежурили специальные соглядатаи, которые бойко резали у прохожих бороды, а в случае сопротивления беспощадно вырывали их с корнем. Вскоре, по образному выражению Николая Гоголя, «Русь превратилась на время в цирюльню, битком набитую народом; один сам подставлял свою бороду, другому насильно брили».

Так, революционно и деспотически, Петр I порывал с многовековой традицией, стремясь сделать россиян «сходственными на другие европейские народы». Борода стала знаменем в борьбе двух сторон – реформистов во главе с царем и сторонников старорусской партии. Монарх стремился перевоспитать общество, внушить ему новую концепцию государственной власти. И брадобритие, как и другие культурные явления эпохи преобразований, было существенным элементом государственной политики. Царь, как отметил культуролог Виктор Живов, «требовал от своих подданных преодолеть себя, демонстративно отступить от обычаев отцов и дедов и принять европейские установления как обряды новой веры».

Но, повсеместно насаждая бритье бород, только ли на Европу ориентировался Петр? Было ли ему известно, что восточные славяне до принятия христианства также брили бороду и усы – открытое лицо почиталось тогда ими признаком знатности. Сознал ли Петр эту свою преемственность с язычниками-русичами?

Можно сказать определенно – отец Петра, царь Алексей Михайлович, осознавал языческую природу брадобрития, причем именно на русской почве: в одной из грамот царя бритье бород ставилось им в один ряд с кликаньем Коляды, Усеня и Плуга, распеванием «бесовских» песен, скоморошеством и другими языческими действиями. Однако какие-либо высказывания Петра по этому поводу не были слышны.

Если говорить о том, как непосредственно воспринимал это Петр I, то борода ассоциировалась у него с ненавидимыми им стрельцами (чуть было не лишившими его жизни), а позднее с «опасным» окружением царевича Алексея. (Петру I приписывают слова: «Когда б не монахиня, не монах и не Кикин, Алексей бы не дерзнул на такое зло неслыханное. Ой, бородачи, многому злу корень – старцы да попы. Отец мой имел дело с одним бородачом (патриархом Никоном. – Л. Б.), а я с тысячами».

Петр I прекрасно понимал, что предметы внешние действуют на внутреннее «благообразие» человека. А русский человек держался за бороду обеими руками, как будто она приросла у него к сердцу. Ведь в течение многих веков россияне видели в бороде признак достоинства мужчины, мерило своего православия, а также символ собственного церковного превосходства над «люторами» и прочими еретиками. В «еретических» же странах Запада, отмечал в своем очерке «Бороды и варвары» современный британский аналитик Сирил Норкот Паркинсон, гладко выбритое лицо всегда соотносилось с периодами расцвета; борода же появлялась во времена упадка и неопределенности. Она была тем покровом, под которым скрывают колебания и сомнения; а их в период 1650–1850 годов было довольно мало. Поэтому в западноевропейском обществе укоренились вполне определенные взгляды, в корне отличные от взглядов московских староверов: «Борода заменяла мудрость, опыт, аргументацию, открытость. Людей в возрасте она наделяла престижем, который не подкрепляется ни достижениями, ни интеллектом. Она могла служить – и служила – прикрытием для всего показного, напыщенного, лживого, невежественного».

Такое критическое восприятие бороды было органически чуждо ее русским ревнителям. Впрочем, не только русским: Георгий, митрополит Киевский, повторял: «Стязание с Латиной [католиками]... бреют брады свои бритвой, что отступлением является от Закона Моисеева и Евангельского». И действительно, согласно Торе, острижение бороды мужчины – позор. В книге «Левит» (гл. 19, ст. 27) читаем: «Не порти края бороды своей». Известно также, что бороду носили

Иисус Христос и апостолы, о чем говорил в своих евангельских беседах св. Иоанн Златоуст.

О необходимости бороды свидетельствовало и правило византийского богослова Никиты Скифита «О пострижении брады». И в постановлениях Стоглавого Собора 1551 года указано: «Творящий брадобритие ненавидим от Бога, создавшего нас по образу Своему. Аще кто бороду бреет и преставится тако – не достоин над ним пети, ни просфоры, ни свечи по нем в церковь приносить, с неверными да причтется». В Соборном Изложении прадеда Петра I, патриарха Филарета (Романова), в книге «Большой Требник» находим проклятие брадобрития как «псовидного безобразия». Считалось также, что безбородость способствует содомскому греху.

Митрополит Макарий (председатель Стоглавого Собора) (1482–1563) называл бритье бород не только «делом латинской ереси», но и серьезным грехом. В древнерусской церкви оно считалось худой на Всевышнего, создавшего совершенного мужчину с бородой: бреющийся тем самым кощунствовал, поскольку выражал недовольство внешним обликом, который дал ему Творец; следовательно, он желал «поправить» Бога, что было, конечно же, недопустимо. Следующий брадобритию должен был быть отлучен от церковного общения.

Староверы называли бритье бород «еллинским блудническим гнусным обычаем». В самом деле, древние греки, высоко ценившие молодость, живость, форму, первыми восстали против повсеместного распространения бород. Показательно, что Александр Великий в дисциплинарном порядке велел всем македонцам брить бороды. Причину он выставил такую – во время боя противник может схватить тебя за бороду. Но истинный мотив был другой – древний вождь хотел тем самым подчеркнуть особый характер европейской цивилизации, которую он представлял. Вслед за Грецией бороду стали брить и в республиканском Риме. Как видно, русские поклонники бород нашли своих оппонентов не только среди католиков и протестантов, но и среди язычников, или «поганых», как они их называли. Даже на саму бритву староверы смотрели как на орудие иноземного разврата и басурманского безбожия.

Резкость тона обличителей брадобрития имела под собой серьезные основания, ибо во все времена находились отступники от стародавних церковных запретов. Одним из ранних нарушителей традиции стал великий князь Московский Василий III Иванович. Женившись в 47 лет на 18-летней княжне Елене Глинской, он вдруг совершает вызывающий поступок – сбривает бороду (оставляет лишь

усы по польской моде). В ту эпоху это был дерзкий вызов и бытовым, и религиозным обычаям: ведь подобное действие приравнивалось к еретичеству, к посягательству на образ Божий в человеке, тем более что оно исходило от Божьего помазанника. Василий Иванович, вольно или невольно, стал насадителем новой моды в Москве – вслед за ним на улицах города появились щеголи, которые не только брили бороды, но и выщипывали себе волосы на лице. По словам филолога Николая Гудзия, их брадобритие «имело эротический привкус и стояло в связи с довольно распространенным пороком мужеложества».

Один летописец того времени, стараясь (впрочем, неуклюже) оправдать Василия, пишет: «Царям подобает обновляться и украшаться всячески». Историки связывают его брадобритие и с желанием угодить молодой капризной жене.

Во время правления Бориса Годунова (1552–1605) подражание иноземцам в бритье бород приобретает дальнейшее распространение. Сохранился портрет самого царя Бориса Федоровича в парадном одеянии и шапке Мономаха, но без бороды и усов. Николай Карамзин в «Истории государства Российского» отмечал, что Бориса упрекали, в частности, в «пристрастии к иноземным, новым обычаям (из коих брадобритие особенно соблазняло усердных староверов)».

Одна из первых парсун сделана с князя Михаила Скопина-Шуйского (1586–1610), образованнейшего человека своего времени, освободителя Москвы от Лжедмитрия I. Изображен он на ней безбородым, а ведь отказ от бороды становился верным признаком западника, готового отказаться от прадедовской традиции, внешне уподобиться получерту латинянину.

«Ох, ох, Русь, что-то захотелось тебе немецких поступков и обычаев!» – сетовал в 70-е годы XVII века протопоп Аввакум (1621–1682). Действительно, уже с XVII века среди высших слоев русского общества распространилось брадобритие и консерваторы отчаянно боролись с этим. Правительство колеблется: с одной стороны, оно стремится к новому, но в то же время пугается выходок староверов. В угоду последним царь Алексей Михайлович в 1675 году издает указ, согласно которому предлагалось «иноземских немецких и иных обычаев не перенимать, волосов у себя на голове не подстригать».

В 1681 году царь Федор Алексеевич, который сам бороду не носил, указал всем дворянам и приказным людям носить короткие кафтаны вместо длинных

охабней и однорядок – никто в старой одежде не мог явиться в Кремль. Однако упразднить стародавние бороды ему не удалось из-за противодействия патриарха Иоакима (ум. 1690), который еще при Алексее Михайловиче осудил тех, кто «паче ныне нача губити образ, от Бога мужу дарованный». Иоаким отлучал от церкви не только тех, кто брился, но даже тех, кто просто общался с грешниками.

Наиболее воинственно высказывался по этому поводу последний русский патриарх Адриан (1627–1700). Вспоминая о тех «счастливых» временах (XVI–XVII века), когда за бритье бород, помимо отлучения от церкви, иногда подвергали битью батогами или ссылкой в отдаленные монастыри, Адриан в своем «Окружном послании ко всем православным о небритии бороды и усов» приравнивал брадобритников к котам и псам. Все это вызвало резкое недовольство Петра. Опальный патриарх вынужден был уехать из Москвы в Николо-Перервинский монастырь. Не одобряя многих петровских преобразований, он, тем не менее, старался не мешать царю-реформатору и молчал. Но это его молчание было, по существу, пассивной формой оппозиции.

Ревнителям бород, искавшим опоры в авторитете церкви, этого было, конечно, мало – они требовали действий, а потому негодовали на «малодушного» Адриана. Секретарь прусского посольства в России Иоганн Готтгельф Фоккеродт заметил, что многие защитники старины «лучше положат голову под топор, чем лишатся бород».

Своеобразной формой протеста против нововведений Петра I стал так называемый самоизвет, к которому, как к последнему средству, прибегали отчаявшиеся староверы. Так, в 1704 году, к примеру, некий нижегородец Андрей Иванов прокричал: «Государево слово и дело!», а на допросе сказал: «Государево дело за мною такое: пришел я извещать государю, что он разрушает веру христианскую, велит бороды брить, платье носить немецкое и табак велит тянуть». При этом Иванов ссылался на запрещающий эти «безобразия» Сто-глав. Судьба Иванова трагична – он погиб под пытками. И случай этот не единичный.

Пример пассивного протеста приводит британский инженер на русской службе Джон Перри. Он рассказал о том, что русские, питавшие религиозный пиетет к своим бородам, вынуждены были подчиниться царскому указу и обрить их. Однако многие бережно хранили уже отрезанные бороды, с тем чтобы впоследствии, положив их с собой в гроб, предъявить на том свете святому

Николаю. Однако не все люди в рясах отстаивали русскую бороду – многие представители духовенства горячо поддерживали реформы Петра Великого. Среди них – митрополит и церковный писатель Димитрий Ростовский (в миру Даниил Туптало, 1651–1709), впоследствии канонизированный Русской православной церковью. Его перу принадлежит рассуждение «Об образе Божии и подобии в человеце», где ему пришлось доказывать, что у человека образ Божий заключен не в бороде, а в невидимой душе, и что не борода красит человека, а добрые дела и честная жизнь. Димитрий приучал паству заботиться прежде всего о спасении души, а не о внешней красоте и благочестии.

Любопытно, что противники бород оправдывали бритье и чисто практическими соображениями. Тот же Джон Перри утверждал, что окладистая борода мешает человеку аккуратно есть и пить. Но наиболее рельефно мысль о неудобстве бороды выразит позднее Николай Карамзин в своих «Письмах русского путешественника»: «Борода принадлежит к состоянию дикого человека; не брить ее – то же, что не стричь ногтей. Она закрывает от холоду только малую часть лица: сколько неудобности летом, в сильный жар! Сколько неудобности и зимой, носить на лице иней, снег и сосульки! Не лучше ли иметь муфту, которая греет не одну бороду, а все лицо?»

Навязывая новую моду, царь был весьма последователен и не церемонился с ослушниками. В Москве в 1704 году на смотре служилых людей он приказал нещадно бить батогами дворянина Наумова за то, что тот не обрил бороды и усов. В отношении же простого люда власти действовали еще более решительно. В Астрахани местный воевода Тимофей Ржевский насаждал новые порядки путем жестокого насилия. Астраханцы жаловались позже: «Бороды резали у нас с мясом и русское платье по базарам, и по улицам, и по церквам обрезавали ж... и по слободам учинился от того многой плач». Стихийные протесты жителей Астрахани переросли в восстание, которое в 1705 году вынужден был подавлять огнем и мечом генерал-фельдмаршал Борис Шереметев. Характерно, что одному из бунтовщиков, Якову Носову, сначала обрили голову и только после этого ее отрубили. Такими мерами Петр приобщал подданных к нововведениям на свой вкус. Восстание приняло бы более масштабный характер, если бы к астраханцам присоединились казаки, которых они просили о помощи. Однако поскольку с молчаливого согласия властей указ Петра о брадобритии казаки не выполняли, они отказались поддержать восставших.

Когда спустя столетие русские войска, завершая войну с Наполеоном Бонапартом, вошли в Париж, бородатые казаки произвели на французов весьма сильное впечатление. Борода быстро вошла там в моду и называлась «а-ля русс». Парижские газеты писали: «Борода – это естественное украшение особ сильного пола. Она часть мужской красоты... Только борода может придать значительность лицу мужчины».

Однако в самой России действовали запретительные законы о бородах. Они издавались и августейшими преемниками Петра I вплоть до конца XIX века. К бритому подбородку привыкли. Рядом с давним убеждением, что «борода – образ и подобие Божие», в народном сознании жили уже совсем иные взгляды: «Борода выросла, а ума не вынесла»; «мудрость в голове, а не в бороде» и так далее. Только император Александр III, относившийся к бритве с недоверием, полностью бороду реабилитировал. Он и сам носил бороду, и в этом ему следовал последний российский император Николай II. Но это уже выходит за рамки рассказа о венценосном брадобрее.

Предезкое щегольство

Литератор XVIII века Иван Голиков рассказал в своих знаменитых «Анекдотах, касающихся государя императора Петра Великого»: «Один из посланных во Францию богатого отца сын... по возвращении в Петербург, желая показать себя городу, прохаживался по улицам в белых шелковых чулках, в богатом и последней моды платье, засыпанном благовонною пудрою. К несчастью его, встретился он в таком наряде с монархом, ехавшим на работы адмиралтейские в одноколке. Его величество, подозвав его к себе, начал с ним разговор о французских модах, об образе жизни парижцев, о его тамошнем упражнении и т. д. Щеголь сей должен был на все это отвечать, идя у колеса одноколки, и монарх не прежде отпустил его от себя, пока не увидел всего его обрызганного и замаранного грязью».

Откуда взялось у царя это неукротимое желание непременно испачкать щегольское платье? Здесь необходим исторический экскурс. И повествование следует начать с детства Петра, когда его учитель, дьяк Н. М. Зотов, занимал венценосного отрока показом купленных в Овощном ряду в Москве гравюр («кунштов») с изображением иностранцев в характерных костюмах. Юный

царевич знал о составе и форме одежды иноземных войск не только понаслышке, но и от находившихся близ него иностранцев. (Не исключено влияние первого встреченного им «немца» Павла Менезиуса.) Это помогло Петру, еще подростку, обмундировать по-немецки свои Потешные полки.

Но непосредственно к иноземной одежде он приобщился, посещая Немецкую слободу – этот «островок Западной Европы» в тогда еще домостроевской Московии, где бурлила жизнь, господствовали более свободные нравы, манил незнакомый, но такой притягательный европейский быт. Князь Борис Куракин называет самым ранним поставщиком европейского платья для царя англичанина из слободы Крефта [Андрея Юрьевича Кревета], который, начиная с 1688 года, «всякие вещи его величеству закупал, из-за моря выписывал и допущен был ко двору. И от него перенято было носить шляпочки аглинские, как сары (сэры. – Л. Б.) носят, и камзол».

Однако российский патриарх Иоаким гневно осуждал всякое общение с иноземцами. «Опять напоминаю, чтоб иностранных обычаев и платья перемен по-иноземски не вводить», – требовал он от царя. И надо сказать, гнев патриарха был вполне обоснован: ведь самим фактом ношения западной одежды Петр как бы превращался в «ученика Европы». А для того чтобы учиться у Европы, надо было перевернуть всю существовавшую веками систему ценностей, за которую горой стоял Иоаким. Прежде всего надлежало искоренить представление о западных странах как о землях грешных, религиозно погибших. Одновременно следовало разрушить и представление о России как о совершенной стране, в которой все свято и ничего нельзя менять. Так мыслил царь – у него само собой получалось, что отсталая Русь просто обязана перенимать опыт и мудрость у просвещенного и цивилизованного Запада. Но до поры до времени эти свои взгляды монарх не афишировал – слишком сильны еще были ревнители старомосковской старины.

Только после смерти Иоакима (в марте 1690 года) Петр решил заказать себе новый немецкий костюм: камзол, чулки, башмаки, шпагу на шитой перевязи и парик. Но носить эту одежду царь решается пока только среди иноземцев, а именно в той же Немецкой слободе, которую он в силу ряда причин (в том числе и «сердечных») теперь посещает все чаще и чаще. Его старший друг Франц Лефорт, оказавший, по словам Вольтера, «цивилизирующее» воздействие на Петра, повлиял на юного царя и в выборе одежды – сохранились сведения, что в 1691 году царь нередко, подобно Лефорту, появлялся на людях во французском платье. Однако одеяние монарха не отличалось свойственным Лефорту

щегольством и не было усыпано драгоценностями.

Путешествие Великого посольства в Европу в 1697–1698 годах интересно, в частности, и тем, что московские дипломаты, щеголявшие поначалу в своих пышных боярских одеждах, экзотических для европейцев, в январе 1698 года надели наконец европейское платье. Событие это стало знаковым в русской культуре. После возвращения Посольства в Москву, 12 февраля 1699 года, состоялась известная «баталия» Петра I с долгополым и широкорукавным платьем. Произошло это на шуточном освящении Лефортовского дворца, куда многочисленные гости явились в традиционной русской одежде: в ярких зипунах, на которые сверху были надеты кафтаны с длинными рукавами, стянутыми у запястья зарукавьями. Поверх кафтана красовался ферязь – широкое и длинное бархатное платье, застегнутое на множество пуговиц. Наряд завершала шуба с высокой тульей. Очевидец, наблюдавший за царем в этот день, сообщал, что он взял ножницы и стал укорачивать гостям рукава, приговаривая: «Это – помеха, везде надо ждать какого-нибудь приключения, то разобьешь стекло, то по небрежности попадешь в похлебку; а из этого (царь показывал отрезанные куски материи) можешь сшить себе сапоги». Вскоре подданные уже «щеголяли по примеру царя-батюшки в коротких и удобных кафтанах европейского покроя, причем суконных, а не роскошных, как раньше».

Важно понять историко-культурный смысл происшедших перемен. Иноземная одежда, по словам князя Михаила Щербатова, «отнимала разницу между россиянами и чужестранными» и – даже чисто внешне – превращала москвитя в полноценного «гражданина Европы». Поскольку такая одежда была социально маркирована (она охватывала преимущественно высший класс общества), в ее введении и распространении в России усматривают удовлетворение желания дворянства даже внешне отделиться от представителей других сословий.

Но «чужое платье» (как называл его Петр) – это не только что-то поверхностное, наружное; оно знаменовало собой вышедшего на историческую авансцену России «политичного кавалера», то есть «окультуренного человека», не только внешне, но и внутренне обработанного по западноевропейским стандартам цивилизованного гражданина. В нем должны были сочетаться «ученость», военная доблесть, преданность идее «общего блага», бескорыстие, галантность. А потому нововведения в области одежды были неразрывно связаны с подготовкой более масштабных реформ, с преодолением заскоруждой ксенофобии и пережитков старины. Очень точно сказал об этом в XVIII веке пиит Александр Сумароков: «В перемене одеяния... не было Петру Великому ни

малейшая нужды, ежели бы старинное платье не покрывало бы старинного упряма... Сия есть первая ересь просвещаемуя веку от суеверов налагаемая».

Кстати, о «суеверах». Как показал историк культуры Борис Успенский, замена русского платья европейским приобретала особый смысл в глазах современников, поскольку именно в таком одеянии на иконах изображали бесов. Поэтому этот образ был давно знаком русскому человеку, вписываясь в совершенно определенное иконографическое представление. По словам современников, «Петр нарядил людей бесами».

Иноземное платье вызывало и иные ассоциации. Академик Петр Пекарский упоминает об отпечатанной в типографии Яна Тессинга гравюре, на которой изображены мужчина и женщина в немецкой одежде. Далее следовал сопроводительный текст:

Ах, ах, мир о вечном благу не помышляет,
Ходит в суетном убранстве и сим ся украшает,
В злодействе ищет себя удоволити,
Чрез приятность нечто тайно сотворити!

Таким образом, немецкие костюмы олицетворяли здесь откровенное прелюбодейство. Однако, несмотря на некоторое противодействие «староверов» нововведениям, 4 января 1700 года был издан Указ, согласно которому все мужское население «на Москве и в городах», кроме крестьян и духовенства, должно было носить иноземное платье «на манер венгерского». Последующие же указы вводили уже «платье немецкое и французское», причем не только для мужчин, но и для женщин. Появляться в обществе в русской одежде не только запрещалось, но и каралось штрафом: у городских ворот Москвы стояли целовальники «и с противников указу брали пошлину деньгами, а также платье (старомодное. – Л. Б.) резали и драли».

Наряду с обиходным, внимание было уделено и парадному платью. Его, согласно Указу от 18 февраля 1702 года, надлежало носить всем, от «царевичей» до «нижних чинов людей», «в праздничные и церемониальные дни»; при этом строго оговаривалось, кому и какой кафтан, какой камзол и из какой ткани следует надевать. Для Петра I традиционная московитская одежда была лишь

раздражавшим его символом старины. А теперь «переодетый в более рациональное европейское платье, избавленный от длинных рукавов, широких воротников, тяжелых высоких шапок и шуб до земли, человек начинал иначе двигаться, а следовательно, иначе жить и мыслить».

Исследователи Р. Белогорская и Л. Ефимова отмечают, что русский царь, путешествовавший в конце XVII века по Европе, мечтал познакомиться с французской культурой и сетовал, что Людовик XIV не пустил его в эту страну. И так как Петр Великий владел голландским и немецким языками, а французский знал плохо, то искал нужные ему модели в Голландии и Германии. Алексей К. Толстой в своей сатирической поэме «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» писал по этому поводу:

Вернувшись оттуда (из-за границы. – Л. Б.),

Он гладко нас побрил,

А к Святкам, так что чудо,

В голландцев нарядил.

Скажем кстати, что этот иностранный костюм, вводимый в России Петром I (в том числе и его голландская модель), «сложился под влиянием преимущественно французского дворянского костюма XVII века. К XVIII веку он получил общеевропейское признание. Франция стала почти единственной законодательницей новых форм костюма и законодательницей мод на долгое время». Потому, несмотря на тонкую разницу между национальными вариантами европейской одежды («саксонская», «немецкая», «венгерская» и т. д.), все они имели одинаковый крой, восходящий к французскому костюму, заимствованному Петром не непосредственно, а скорее опосредованно. И заявление британского инженера на русской службе Джона Перри о том, что в одежде царь следовал английской моде, лишний раз подтверждает вывод об универсальности французского образца. Французский костюм, на который ориентировался царь, называли еще «воинственным», поскольку он сложился под прямым влиянием армейской формы солдата. Петр же как раз был приверженцем «строного и простого военного стиля в одежде», ценил ее функциональность и не терпел украшательства. В этой связи вполне понятны гонения самодержца на «одежды весьма пышные и украшения драгоценные» московских бояр.

Иностранцы, посещавшие Московию в XV–XVII веках, неизменно отмечали «роскошное золотое платье дворян», всадников, «одетых по-туземному самым блестящим образом», «больших людей в парчовых халатах и шапках из чернобурых лисиц», царя, восседавшего на престоле в золотой одежде, весившей двести фунтов. В особенности же путешественники обращали внимание на щегольство россиянок. Австрийский дипломат барон Августин фон Мейерберг свидетельствовал в XVII веке: «У женщин всех разрядов Московии все потребности состоят в... нарядах: выезжая куда-нибудь, они носят на своем платье доходы со всего отцовского наследства и выставляют напоказ все пышности своих изысканных нарядов». В этой связи представляется ошибочным мнение М. М. Щербатова, будто бы современники Петра I более предков своих предали роскоши. Подтверждение неправомочности подобной оценки мы находим в России начала XX века, когда при дворе Николая II устраивались пышные костюмированные балы (Новый год по-итальянски, по-французски и так далее), – по общему признанию, самым роскошным маскарадом оказался как раз старорусский (1903 года), где монарх щеголял пудовым царским костюмом времен Алексея Михайловича.

Рассматривая преобразования первой четверти XVIII века, можно говорить не только о повсеместном введении в дворянской среде европейского костюма, но и о целой системе государственных мероприятий, направленных на запрет ношения стародавней московитской одежды и бороды. В ряду известных петровских кощунств находятся шутовские свадьбы, где бородатых шутов и их гостей умышленно наряжали в русское народное платье. Такое платье, представленное на свадьбе шутов, приняло в петровское время характер маскарадного.

Точно так же позднее, в XVIII веке, гимназистов и студентов наказывали, надевая на них крестьянскую, то есть русскую национальную, одежду. Уместно в этой связи вспомнить, что Петр после поражения под Нарвой с горя облачается в крестьянский костюм, казня тем самым сам себя, и при этом плачет навзрыд.

Говоря о традиции древнерусского щегольства, уместно упомянуть героя былин богатыря-щипа (франта) Чурилу Пленковича, о котором рассказывается в известном «Сборнике Кирши Данилова» (№ 18). Это типичный щеголь-красавец с «личиком, будто белый снег, очами ясна сокола и бровями черна соболя», бабский угодник и донжуан. Из всех персонажей русского эпоса он один заботится о своей красоте: поэтому перед ним всегда носят «подсолнечник» (зонт), предохраняющий лицо от загара. От красы, «желтых кудрей и злаченых

перстней» Чурилы у жены одного князя «помешался разум в буйной голове, помутились очи ясные». Дается в былине и описание его щегольских сапог на высоком каблуке: «Из-под носка соловей пролети, а вокруг пяточки яйцо кати». Историк XVIII века Василий Татищев установил, что историческим прототипом Чурилы был князь Всеволод Ольгович (в крещении Кирилл; 1116–1146): «Сей князь... много наложниц имел и более в веселиях, нежели расправах, упражнялся. Чрез сие киевлянам тягость от него была великая, и как умер, то едва кто по нем кроме баб любимых заплакал». Факты свидетельствуют, что Петр I не только был знаком с былинами об этом древнем щеголе, но и беспощадно пародировал его: «У него все чины Всешутейшего Собора звались Чурилами, с разными прибавками».

Но не менее, чем роскошь, бесила государя праздность в платье. А потому утверждение Михаила Богословского о том, что Петром I «европейская одежда взята без какого-либо отбора, только потому, что ее носили европейцы», не вполне верно. В 1720-е годы XVIII века в Санкт-Петербурге был оглашен следующий указ монарха: «Нами замечено, что на Невском проспекте и в ассамблеях НЕДОРОСЛИ отцов именитых, как то: князей, графов и баронов, в нарушение этикету и регламенту штиля в гишпанских камзолах и панталонах щеголяют предерзко.

Господину Полицмейстеру САНКТ-ПЕТЕРБУРГА УКАЗАНО: иных щеголей с отменным рвением великим вылавливать, свозить в литейную часть и бить батогами, пока от гишпанских панталон и камзолов зело похабный вид не останется. На звание и именитость отцов не взирать, а также не обращать никакого внимания на вопли наказуемых».

Таким образом, из сферы европейских заимствований категорически исключалась испанская одежда.

Почему же один ее вид вызвал у царя такую отчаянную реакцию? Дело в том, что именно праздность отличала «гишпанские камзол и панталоны», восходящие отнюдь не к военному, но к гражданскому костюму. Так же, как и французский, испанский костюм состоял из камзола, широкополой шляпы, кружевного воротника и манжет, но «нижняя его часть носила совершенно иной характер: широкие панталоны доходят до колен, на ноги надеваются длинные черные чулки, которые прикрепляются к панталонам особыми подвязками, отделанными кружевом, и шелковые башмаки с бантами или розетками из кружев или цветного шелка».

Немецкий историк культуры Герман Вейс пояснил, что жилет (или, как его называли, безрукавный камзол), узкие или широкие штаны до колен, перетянутые на талии широким цветным кушаком; чулки; остроносые башмаки без каблуков и длинные кожаные гетры на пуговицах еще долго были в моде. Появление в таком костюме на публике воспринималось Петром чуть ли не как нарушение общественного порядка, заслуживающее «отменного рвенія» самого полицмейстера Санкт-Петербурга. Именно за это полагалось бить батогами, несмотря на «вопли наказуемых». Такие, по нашему мнению, не вполне адекватные меры связаны, по-видимому, с категоричностью и импульсивностью Петра, его горячностью в отстаивании собственной позиции. («Петр скор на расправу», – говорили о нем.) Кроме того, царь действительно видел опасность в распространении такого «предерзкого» щегольства, олицетворением которого и был для него «гишпанский» костюм.

Очевиден и воспитательный аспект этого петровского указа. То обстоятельство, что слово «недоросли» выделено здесь крупным шрифтом, позволяет рассматривать это повеление императора в ряду его узаконений о молодом поколении. Вместе с тем Петр уточняет направленность своего законодательного акта – он апеллирует именно к «недорослям именитых отцов, как то: князей, графов и баронов». Таким образом, он впервые говорит о явлении, которое впоследствии, уже в XX веке, получит название «плесени» или «золотой молодежи». И характерно, что названная прослойка молодежи, спрятавшаяся за спины богатых и чиновных отцов, нередко ассоциируется у Петра с щегольством. Показательно в указе замечание: «На звание и именитость отцов не взирать». И это не просто фраза, это – осознанная государственная позиция, отвергавшая всяческую семейственность и оценивавшая человека исключительно по его «годности», то есть по личным заслугам. На таких принципах построено все законодательство эпохи (и прежде всего знаменитая «Табель о рангах» 1722 года). И в жизни царь карал нарушителей, невзирая на чиновную родню. Вот лишь один только факт: он примерно наказал племянника прославленного фельдмаршала Бориса Шереметева, посмеявшегося вместо того, чтобы отправиться на учебу за границу, жениться на дочери князя-кесаря Федора Ромодановского.

Царь говорит в своем указе и о нарушении молодцами в «гишпанских» костюмах этикета и «регламента штиля» того времени. О каком этикете идет здесь речь? Ведь придворный этикет, церемонии вообще стесняли Петра. (Не случайно для этих целей он ввел специальную должность князя-кесаря, которую много лет занимал Федор Ромодановский.) Нелюбовь к ним царь проявил еще в начале

1690-х годов. Так, датский посланник Юст Юль отмечал: «О церемониях он не заботится и не придает им никакого значения или, по меньшей мере, делает вид, что не обращает на них внимания. Вообще, в числе его придворных нет ни маршала, ни церемониймейстера, ни камер-юнкера, а аудиенция моя скорее походила на простое посещение, нежели на аудиенцию». А Михаил Богословский описал мучения императора на церемонии приема персидского посла в августе 1723 года: «Он сильно потел от волнения и часто нюхал табак, когда посол произносил длинную высокопарную речь и когда он затем по восточному обычаю пополз по ступеням трона, чтобы поцеловать руку императора. С большим облегчением он вздохнул и выбежал из тронной залы, как только эта утомившая его церемония кончилась».

По всей видимости, говоря об этикете, Петр имел в виду распространенные в то время правила морали и светских манер, служившие для российских дворян своеобразным кодексом поведения. Одно из таких руководств – рукопись, переписанная рукой петербургского немца, стихотворца и переводчика, панегириста Петра I, Иоганна-Вернера Паузе, где также содержатся прямые инвективы против щегольства детей богатых отцов: «Если родители подарят новое платье – не хвастай им и не скачи перед другими от радости: это пристойно обезьянам и павлинам. Богатый хвостун в красных своих платьях поношает беду и нищету их и людей ненавистных учинит. Поэтому юношам прилично носить скромное платье».

Этикет того времени, помимо ношения европейских одежд, включал исполнение французских, немецких и польских танцев (показательно, что в училище Э. Глюка в Москве в 1703 году был специальный предмет «Танцевальное искусство и поступь французских и немецких учтивств»), свободное владение иностранными языками, а также умение писать и говорить красноречиво. Петр I, не обладая сам в достаточной мере светскими манерами, хотел видеть их у своих подданных. Он даже составил инструкцию, которой должны были руководствоваться при дворе. Впрочем, ее пункты звучат довольно обыденно: «Не разувая, сапогами или башмаками, не ложит(ь)ся на постели»; «Кому будет дана карта с номером постели, то тут спать имеет. Не переноси постели ниже другому дать, или от другой постели взять».

Издавались и руководства к сочинению писем на все случаи жизни, вроде книги «Приклады, како пишутся комплименты разные» (1708). Особое место здесь занимали галантные «Поздравительные письма к женскому полу».

Из подобных компонентов и складывался «регламент штиля» эпохи, куда «гишпанские камзол и панталоны» просто не вписались. И действительно, мы не располагаем данными, чтобы кто-либо после названного указа облачился в подобные одежды. Но дело не только в этом. Важен сам принцип – монарх присваивает себе право вводить, разрешать или же запрещать ту или иную моду на одежду. Достаточно объявить неугодное платье «предерзким щегольством» – и проблема решена.

Однако Петр воспринимал как щеголей, хотя и не столь «предерзких», и тех молодых людей, кого Николай Гоголь назвал впоследствии «французокафтанниками» (вспомним, с каким изуверством монарх испачкал французский костюм сына богатого отца!). Особенно значимо свидетельство Ивана Голикова о негативной оценке императором «так называемых петиметров, которых почитал он за людей негодных и ни к чему не способных». Слово «петиметр» в XVIII веке обозначало фата, щеголя, обязательно галломана, высокомерного молодого человека с претенциозными манерами[1 - Ср. также: «Petite-maitre – Молодой человек, который много о себе думает и лучше себя никого не ставит. Щеголь, вертопрах, петиметр» (Новой лексикон на французском, немецком, латинском и на русском языках, переводу ассессора Сергея Волчкова. Ч. 2. СПб, 1764. С. 323).]. Хотя Голиков употребляет понятие «петиметр» применительно к петровскому времени, думается, однако, что в российский культурный обиход оно вошло позднее (впервые фиксируется в 1750 году в комедии А. П. Сумарокова «Чудовищи»), причем, особенно после полемики вокруг сатиры И. П. Елагина 1753 года, с явственным пренебрежительным оттенком.

Согласно мнению историка Льва Гумилева, при Петре I о петиметрах говорить рано: «из Европы брали только технические нововведения», петиметры же только «при Екатерине занимали крупное положение и укрепились». И Василий Ключевский, характеризуя этапы развития российского дворянина, при рассмотрении первой четверти XVIII века говорит только о распространенности типа «петровского артиллериста и навигатора с его военно-технической выучкой»; господство же щегольства и галломании он связывает с более поздним периодом, выделяя здесь тип «елизаветинского петиметра с его светской муштровкой».

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Ср. также: «Petite-maitre – Молодой человек, который много о себе думает и лучше себя никого не ставит. Щеголь, вертопрах, петиметр» (Новой лексикон на французском, немецком, латинском и на русском языках, переводу ассессора Сергея Волчкова. Ч. 2. СПб, 1764. С. 323).

Купить: https://tellnovel.me/ru/berdnikov_lev/derzkaya-imperiya-nravy-odezhda-i-byt-petrovskoy-epohi

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)